

**Инна Генс-Катанян**

**ДОМА**

**И**

**МИРАЖИ**

**Издательство ДЕКОМ**

**603000 Нижний Новгород,  
ул. Горького, 107,**

тел. (8312) 337-531, факс (8312) 185-474

e-mail: [izdat@decom.nnov.ru](mailto:izdat@decom.nnov.ru)

## ДОМ В ТАРТУ

А теперь из современной жизни я хочу совершить экскурс в прошлые века.

Случилось так, что я осталась последней, кто может рассказать о жизни нашей семьи в Эстонии в первой половине прошлого столетия. Старшие ушли в мир иной, а остальные родственники значительно моложе меня. Детство запечатлелось в моей памяти необыкновенно ярко, и меня иногда изумляют подробности, с которыми встает в памяти наша квартира в городе Тарту, где я появилась на свет и где прошло мое раннее детство. С ней связаны воспоминания о многих событиях и разных людях.

Мой отец, Юлиус Генс, родился в Юрьеве (Тарту), окончил в 1911 году юридический факультет старинного Дерптского университета (ставшего впоследствии Юрьевским, а затем Тартуским), получил диплом помощника присяжного поверенного, но к юриспруденции никакой склонности не испытывал. Еще в гимназии он заразился страстью к искусству, которому служил всю свою жизнь.

В Тарту мы жили в самом центре города в очень странном доме, который стоял на Радушной площади. Это было нелепое сооружение, построенное вокруг спиралеобразной парадной лестницы, которую на третьем этаже по кругу охватывала наша квартира. Самая большая комната - отцовский кабинет - выходила тремя окнами на площадь. От кабинета три ступеньки вели вниз, в небольшую гостиную, а оттуда - в большую темную родительскую спальню, где я и родилась. Далее дверь вела в просторную светлую комнату - нашу детскую, откуда можно было перейти в столовую. Несколькими ступеньками ниже были расположены кухня, ванная и комната кухарки. Из столовой, поднявшись на несколько ступенек, можно было, замкнув круг, попасть снова в кабинет отца, где к тому времени находилась уже довольно обширная библиотека и висело множество картин.



Публикуется впервые

*Юлиус Генс -  
новоиспеченный помощник  
присяжного поверенного*

По-моему, это здание строил какой-то безумный архитектор, но сейчас дома нет: как и весь квартал, он был разрушен бомбардировками во время Второй мировой войны.

В семье я была вторым ребенком, брат Лева старше меня на шесть лет. За ним присматривала гувернантка Пэппу, которая пришла к нам, когда Лева было три года. На самом деле ее звали Eugenie von Boehlendorf. Маленькому мальчику не по силам было произносить такое сложное имя, и он сократил его на Пэппу. Так это имя к ней и пристало. Было ей тогда двадцать пять лет. Когда она меня разыскала после войны в 1956 году, то прислала письмо, первую фразу которого я запомнила дословно: «O, du, mein vielgeliebtes Kind, das ich von deinem ersten Atemzuge an in mein Herz geschlossen habe», что означает: «О, ты, мое обожаемое дитя, которое я с твоего первого вздоха заключила в свое сердце». И это была святая правда, Пэппу меня обожала, наше чувство было взаимным, а в раннем детстве я ее любила больше мамы. Забегу вперед и расскажу о судьбе Пэппу.

Фройлейн Бэлendorф - дочь обедневшего прибалтийского барона. Раннее детство семьи было благополучным, все пять дочерей получили хорошее образование, играли на рояле, разговаривали по-французски и по-английски. Но в жизни им не повезло, и все они пошли либо в гувернантки, либо давали уроки фортепиано или иностранных языков.

В день, когда я родилась, она действительно приняла меня из рук акушерки, и с тех пор я была на ее полном попечении. Пэппу жила со мной в одной комнате, выводила на прогулку, кормила, мыла в ванне, играла, мы все время проводили вместе. А когда я поступила в школу, она делала со мной уроки. Потом, когда я, быстро наставив клякс, убежала во двор гонять мяч, часами лезвием бритвы осторожно чистила мои не очень аккуратно написанные упражнения. Не помню, чтобы она меня когда-либо наказывала, хотя при моей непоседливости, несомненно, было за что.

Мама в моем раннем детстве почти не присутствовала, я обожала ее издали. Она была прекрасной принцессой из сказки, которая вечером подходила к моей постели, чтобы поцеловать на ночь. Сигнал Пэппу: «Госпожа Генс, поцелуй на ночь!» - означал, что маме пора вспомнить о дочери.

Пэппу очень страдала оттого, что я расту вне религии. По собственной инициативе она пошла к местному раввину и спросила его, какую молитву еврейский ребенок должен ежедневно произносить. Раввин продиктовал ей, она записала ее латинскими буквами и научила меня этой молитве. Каж-

дый вечер, ложась спать, уже в постели, сложив ладони, я произносила ее на иврите, которого не знала: «Слушай, Израиль, Бог наш, Бог один» («Шма Исроэль, А-шем элохэйну, А-шем эход!») Словом А-шем в записи обычно заменяют слово адонай - Бог, которого всеу вспоминать не следует. Мне молитва показалась слишком куцей, и я досочинила ей в рифму, уже на идиш, окончание «Омейн, шлоф гут эйн», что означало «Аминь, загни хорошо».

Пэппу была типичной старой девой, и мужу маминой ближайшей подруги, который был неисправимым дамским угодником, доставляло удовольствие ее поддразнивать, изображая из себя влюбленного. Бедная Пэппу краснела, бледнела и не знала куда деваться. Внешность ее была совсем невыразительная, помню только цвет ее волос - светло-русый. Фотографии ее не сохранилось, и восстановить в памяти этот милый образ мне никак не удается.

Когда во второй половине тридцатых годов Гитлер начал среди зарубежных немцев свою, как мы сейчас сказали бы, подрывную работу, Пэппу, лишенная личной жизни, стала посещать какие-то профашистские собрания. Она говорила, что Гитлер не прав в отношении к евреям (да как иначе могла она говорить, прожив в мире и согласии всю свою жизнь в еврейской семье?), но что немецкому народу необходимо жизненное пространство, которого он лишился в результате Версальского договора. Меня все это не волновало, но Лева, которому было уже шестнадцать лет, начал активно бороться с фашистской идеологией внутри нашей семьи. Он писал на ватмане тушью лозунги типа «Гитлер свинья всех свиней!» и вешал их над постелью Пэппу. Слово «свинья» - самое страшное ругательство, на которое мой брат был способен не только тогда, но и впоследствии, когда уже стал взрослым. И еще Лева писал антигитлеровские лозунги на ее книгах. Пэппу ходила жаловаться папе, а папа, хотя и считал, что пачкать книги нехорошо, по сути дела с Левою соглашался. Обстановка в наших детских комнатах становилась все более напряженной, и кончилось это тем, что в 1939 году Пэппу от нас ушла. Она нанялась гувернанткой к трехлетней девочке наших знакомых, живших в доме перед остановкой трамвая, на котором я возвращалась из гимназии. И вместо того чтобы вовремя явиться домой к обеду, я ежедневно ухитрялась забегать туда, чтобы увидеть любимую Пэппу.

В конце 1939 года Гитлер призвал немцев Прибалтики вернуться на их историческую родину, и в 1940-м году Пэппу уехала. В моей жизни это было первое настоящее горе. Я рыдала, и дома меня долго не могли привести

в чувство. Вскоре я получила от нее открытку. Она писала, что вышла замуж, живет в Познани. Меня она уговаривала не беспокоиться о ней, потому что у нее хорошая трехкомнатная квартира и все необходимое. Это была единственная весточка, полученная от нее. Я была счастлива, что ей хорошо, но тут отец не выдержал моей политической глухоты. Я помню, что он позвал меня в свой кабинет, посадил рядом с собой и стал меня просвещать. Ему не хотелось меня пугать и рассказывать всю правду о гонениях на евреев. Но он мне объяснил, что немцы выгоняют евреев из их домов в леса и что Пэппино благополучие строится на чужом горе.

Тут началась война, мы покинули Эстонию, а когда вернулись, я не могла слышать немецкую речь и никогда больше не разговаривала по-немецки.

Однажды летом 1956 года в наш полуподвал на улице Харидусе, где мы с семьей жили после войны, постучалась немолодая дама вся в кудельках и сказала, что она с трудом нас нашла по просьбе фройлейн Бэллендорф, чтобы передать нам ее адрес: она жила после войны в городе Ратенов, под Потсдамом. И еще последовала просьба: в письмах опускать частицу «фон» - ведь жила она в ГДР. Вскоре я получила длиннющее послание из Ратенова. Оно открывалось фразой, с которой я начала свое повествование о Пэппу. Я ей ответила большим письмом, где описала все мытарства, через которые мы прошли в годы войны. Мстительно описала подробности убийства моей пятнадцатилетней любимой двоюродной сестры, Аточки, выросшей у нее на глазах. И тем не менее я была рада, что Пэппу жива. У нас установилась переписка. Ее жизнь была безрадостной. О судьбе супруга и приемных детей я так ничего и не узнала.

В 1970 году мы с мужем собирались в туристическую поездку по ГДР. Я списалась с Пэппу, мы договорились, что она приедет в Потсдам и мы встретимся в гостинице. Когда мы туда прибыли, портье передал мне телеграмму: *«По состоянию здоровья приехать не могу»*. Для меня это было большим разочарованием. Я так и не узнала, действительно ли она была больна или же испугалась встречи с прошлым. Ведь ей было тогда семьдесят лет. А через год я получила письмо в черной рамке, в котором сообщалось о ее кончине. Я написала по тому же адресу с просьбой прислать мне какие-нибудь фотографии Пэппу, но так ничего и не получила.

## КОРНИ

Мой отец, Юлиус Генс, был третьим сыном в многодетной еврейской семье. Как у многих российских евреев, его предки жили в черте оседлости. Они вели нищую жизнь, опутанную бесчисленными религиозными предписаниями и запретами. Встречались в их жизни и радости, и праздники, игрались свадьбы, рождались дети. И все же горестных дней приходилось значительно больше, чем светлых.

Прадедущка, Иегуда-Лейб Генс, был бедным ремесленником в местечке Трокского уезда Виленской губернии. У него родилось восемь детей, шесть мальчиков и две девочки. И он очень удивился бы, если бы кто-то ему сказал, что один из его внуков станет не только богатым человеком (это-то он мог допустить в мыслях), но что все свои деньги он будет тратить на книги и картины!

Его сыновья, как и многие их сверстники, стремились вырваться из местечка, увидеть мир и устроить свою жизнь не так, как она сложилась у родителей. Так, двое братьев моего деда и их сестра уехали в 70-х годах XIX века в Америку.

Один из братьев стал купцом, владельцем магазина готового платья, другой был в Сизтле раввином, хотя у него и отсутствовал диплом на это звание.

Мой дед, Бер-Дейв бен Йегуда-Лейб Генс, был самым младшим из сыновей. Он тоже мечтал уехать в Америку, но тут прадед восстал - достаточно того, что он двоих отпустил в такую даль. Однако в конечном счете и дед вырвался из местечка, оказавшись в Эстонии.

Со стороны бабушки наши предки жили в Германии, но вечные войны и непрекращающиеся гонения заставили их перебраться в Польшу. Кто-то из них был кем-то вроде ветеринара, что по-еврейски звучало как «менакер». Это и стало их фамилией.

По рассказам родных, знавших прадеда Якова Менакера, тот стремился к просвещению,



Публикуется впервые

*Прадед Иегуда-Лейб Генс  
был нищим ремесленником  
в маленьком местечке*



Публикуется впервые

*Дед Бер Генс  
умер до моего рождения*

потихоньку читал русские книги, будто бы вел дневник, писал по-русски стихи о любви и обучал русской грамоте своих детей.

В историю евреев города Вильно прадедушка Яков вошел тем, что составил специальный календарь на сто лет вперед, в котором указывалось, в какое время по пятницам появлялась на небе первая звезда. Дело в том, что еврейские женщины, встречая субботу, должны были именно в пятницу вечером зажигать свечи при появлении первой звезды. Как ее увидеть в пасмурные дни? Поэтому для каждого города составлялся свой календарь, где указывалось время появления первой звезды.

В самом городе Вильно прадед пользовался всеобщим уважением. Когда по улицам Вильно впервые пошла конка, то его, единственного из всех виленских евреев, губернатор пригласил в качестве почетного гостя принять участие в первом рейсе по городу. Возможно, художественные наклонности, интерес к искусству многих членов нашей семьи и восходит именно к этой ветви нашего фамильного дерева.



*Моревский был типичный «актер-актерыч» - эгоцентричный и громогласный. 1946*

Один из двоюродных братьев отца, Абрам Моревский, стал крупным еврейским актером в Польше, его называли легендой еврейского театра. Он решил стать актером, причем вопреки воле состоятельных родителей. Куда бы ни бросала его судьба - Москва, Париж, Лондон, - он жил только театральными впечатлениями. Потом по протекции актера Василия Далматова его приняли в театральную школу Суворина, которую он и окончил с блестящим аттестатом. На русской сцене играл до 1917 года. Среди его ролей был городничий из «Ревизоре», Кин из одноименной пьесы Александра Дюма-сына, Дантон из пьесы Георга Бюхнера «Смерть Дантона». Но его вершиной была и осталась главная роль в пьесе Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины».

После революции Моревский вернулся на родину, в Вильно, который тогда еще был польским городом, и с 1918 года выступал на еврейской сцене. В его переводе на идиш игрались знаменитые, классические пьесы. К примеру, «Уриэль Акоста» Гуцкова, уже упомянутые пьесы Бюхнера и Леонида Андреева. В мистической драме Ан-ского «Дибук» он сыграл главную роль - цадика. Ее играли многие, но в истории еврейского театра она навсегда связана с именем Моревского.

Характер у него был невыносимый. Избалованный с детства, он не ходил в школу - учителя приглашались домой. Это был беспредельно эгоцен-

тричный человек, постоянно со всеми конфликтующий, по-детски капризный. Как писал о нем польский театральный критик, - «капризный ребенок, капризный студент, капризный приятель и капризный старец»<sup>1</sup>.

В 1947 году, в мою бытность в Ленинграде, отец дал мне знать, что проездом будет Абрам Моревский (он все годы войны прожил в Уфе), и попросил, чтобы я его приветила. Взволнованная от ожидания такой встречи, я продала свою порцию хлеба, получаемого по карточке, купила в знаменитом кафе «Норд» два пирожных - ему и мне - и стала ждать гостя. Явился типичный актер актерыч, крупный, громогласный. Уселся за накрытый стол, я налила ему чаю, и в одно мгновение он съел оба пирожных. Я его возненавидела люто и надолго. Но после того как он прислал милое письмо, в котором назвал меня красавицей, - всё простила.

Моревский окончательно вернулся в 1956 году в Варшаву в качестве режиссера и восстановил на сцене Государственного еврейского театра им. Э. Р. Каминской пьесу Ан-ского «Дибук».

Его мемуары «Туда и обратно. Воспоминания и мысли еврея-актера» в послевоенные годы были опубликованы поначалу в Варшаве на идиш, а затем и в Лондоне на английском языке. Он скончался в возрасте семидесяти восьми лет в Варшаве, работая над пятым томом своих воспоминаний<sup>2</sup>.

А другой кузен, Эрнст Любич, стал знаменитым голливудским режиссером. В его фильмах снимались и Марлен Дитрих, и Грета Гарбо. Уроженец Германии, Любич был учеником Макса Рейнгаардта, работал актером, затем режиссером в немецком кино. В 1923 году он перебрался в Голливуд и своими главным образом комедийными фильмами вошел в историю мирового кинематографа.



*Знаменитый режиссер*

*Эрнст Любич,  
племянник бабушки Иды*

<sup>1</sup> 25 Lat Panstwowego teatru zydowskiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa, 1975, p. 27.

<sup>2</sup> Абрам Моревский, «Туда и обратно. Воспоминания и мысли еврея-актера». Т. I-IV. Варшава, 1958-1963. (на идиш); Abraham Morevski. There and back. Memories and thoughts. London, 1966.

## ДЕДУШКА БЕР И БАБУШКА ИДА

Если представители рода Менакеров стремились вырваться из еврейской замкнутости в область культуры и искусства, то Генсы скорее тяготели к коммерции.

Дед, Бер Генс, как и его отец, был бедным ремесленником в черте оседлости, в литовском местечке Евье-Вьевис. В шестнадцать лет его женили на Иде Менакер. Это считалось хорошей партией - она читала и говорила по-русски, даже знала немного французский и была в меру образована. Жили они бедно, ничем не выделяясь среди окружающих соплеменников. Их старший сын родился еще в местечке, в доме, где в одной комнате спали, ели, занимались каждодневными делами и работали. Дед, энергичный и умный человек, пробыв семь лет учеником перчаточника, открыл собственную мастерскую. Затем стал наезжать в Эстонию со своим галантерейным товаром - перчатками и подтяжками. И торговля шла успешно. В Юрьеве жило много немецких помещиков, и их сыновья, студенты-корпоранты, обязательно носили перчатки - знак принадлежности к высшему обществу. Вскоре дед начал брать товар и у других ремесленников местечка, а в 1885 году окончательно обосновался в Юрьеве, где открыл большой галантерейный магазин.

Однако Юрьев находился вне черты оседлости. Там имели право жительства лишь евреи - ремесленники, купцы первой гильдии, обладавшие соответствующим дипломом более пяти лет, евреи с высшим образованием и потомки кантонистов, то есть солдат, отслуживших двадцать пять лет при Николае I. Правда, для прибалтийских губерний было сделано одно послабление - там разрешалось жить евреям, которые поселились в Лифляндской и Эстляндской губерниях до 1880 года.

Через знакомого пристава деду удалось добыть документ, что он жил в Лифляндской губернии до 1880 года. Тем самым получил законное право проживать в Юрьеве. Но торговое дело требовало частых поездок по стране, и тогда, уже немолодым человеком и преуспевающим купцом, дед отправился в Киев и окончил там зубоврачебный факультет университета. Возможно, чему-то там он и научился, но, как бы то ни было, вернулся дед с дипломом императорского университета св. Владимира, в котором засвидетельствовано, что «Хаим-Берко Лейбо-Овсеевич Генс, иудейского исповедания, выдержавший установленное испытание <...> удостоен в 3-й день декабря 1903 года звания дантиста с правами и преимуществами, присвоенными сему званию». Диплом засвидетельствован подписью ректора, действительного статского советника и кавалера К. Бобринского. Теперь

дед получил законное право жить вне черты оседлости по всей Российской империи, и дела его начали быстро процветать. Он разбогател. Кроме дома, в котором были расположены магазин, складские помещения и квартира, дед выстроил четырехэтажный доходный дом с семью торговыми помещениями на первом этаже. Здание выходило на три улицы в самом центре Юрьева, рядом с Ратушной площадью. Кроме того, дед приобрел в центре города еще один дом, в котором находилась гостиница «Бельвю», и лесопилку.



*На этой открытке начат XX века - дом деда. При мне на третьем этаже в нем жила бабушка*

Дед был человеком не слишком образованным. Он принадлежал к числу людей, которыми, если что-то необходимо, это осваивается на лету. Для облегчения своих контактов с товаропроизводителями в других странах он быстро выучил эстонский, русский и немецкий языки.

Бер Генс имел репутацию безукоризненно честного партнера, его слово значило больше, чем подпись под векселем. Поэтому он получал товары по устному заказу из самых разных мест - Берлина, Стокгольма, Гельсингфорса (ныне Хельсинки), Золингена, Лондона, из Италии и т. д. Продавал свои товары по более низким ценам, чем местные немецкие купцы, и всегда помогал мелким лавочникам в деревнях товаром и советом.

Характер его был воплощением хладнокровия. Когда в 1907 году в доме деда шел обыск, искали оружие, спрятанное его революционно настроенным сыном (о нем я еще расскажу), дед сопровождал полицейских и каждый раз, когда они приближались к тайнику, совал приставу очередную взятку, и оружие так и не нашли.

В 1918 году Юрьев в течение нескольких месяцев был во власти большевиков, и дед скрылся в Риге у родных. Но и там его настигли вооруженные солдаты. Когда они у него спросили: «Здесь ли находится купец Генс из Юрьева», он сказал, что сейчас его позовет, а сам бежал через кухонный выход.

Брат деда, проживавший в США, навестил его в 1913 году и взял с него слово, что тот приедет к нему в Сиэтл, и в 1925 году Бер Генс отправился за океан. То ли волнения от встречи, то ли излишества питания, а дед не сядил за стол без большой стопки водки и бутылки пива, но он там же, в Сиэтле, внезапно скончался. Отказало сердце. В Тарту вернулся уже в цинковом гробу, и его похоронили с большими почестями на старом еврейском кладбище в центре города. Последние годы XX века фашиствующие юнцы несколько раз оскверняли кладбище, сбрасывая могильные камни. Приходится лишь удивляться, как они ухитрились сбрасывать на землю высокую черную гранитную стелу.

Когда молоденькую Иду Менакер в 1884 году выдавали замуж за деда, ее согласия никто не спрашивал. Она просто подчинилась воле родителей. Но это вовсе не значит, что она была натурой пассивной и безропотной. Хотя я помню бабушку уже пожилой женщиной, она поражала своей энергией и умом.

Переезд в Тарту произвел на бабушку Иду огромное впечатление. Вместо шумных, грязных улиц, переполненных беднотой родного городка, она была поражена чистотой Юрьева, тишиной и господствующим всюду порядком. Бабушку так поразила немецкая культура, что она захотела немедленно к ней приобщиться. Она много читала по-немецки и по-русски, сравнительно быстро научилась правильно говорить на этих языках. Дома с детьми стала разговаривать по-немецки, штудировала местную немецкую газету, которую для нее выписывали до последних дней ее жизни. Бабушка даже дала своим детям более, как ей казалось, благозвучные имена. Но эта акция успеха не имела - в школе учитель высмеял попытку обрести имена, звучащие по-европейски, и тем дело и кончилось. Один лишь мой отец в паспорте изменил имя Идель на Юлиус.

И еще бабушка обладала незаурядным художественным вкусом. Она любила ходить по комиссионным магазинам, выискивая красивые предметы

или картины, и со вкусом одевалась. Бабушка любила вышивать, создавала очень искусные пейзажи из разноцветных шелковых ниток. Вставленные в красивые рамки, они повсеместно украшали квартиру. На старости лет она решила сделать своим многочисленным внукам по коврику, изготовленному по всем правилам ковроткачества.

Я поражаюсь, как эта маленькая хрупкая женщина почти год за годом произвела на свет восьмерых детей, вскормила и воспитала их. Она вела хозяйство почти на пятнадцать человек, так как в доме за стол садились и родственники-приказчики. И еще успевала забегать в магазин и там помогать мужу. А летом переезжать всем семейством на дачу, заготавливать варенья и соленья. И при этом никогда не суетилась и всегда сохраняла спокойствие.

Последние дни бабушки были горестными. Шел первый месяц войны. Все дети с семьями, кроме семьи дочери, эвакуировались. Конечно, это не могло не потрясти сердце семидесятивосьмилетней женщины, и в ночь, когда немцы вошли в Тарту, бабушка умерла. Можно только благодарить судьбу, что умерла она своей смертью и ей не пришлось разделить участь подавляющего большинства оставшихся в городе тартуских евреев, расстрелянных на краю противотанкового рва. Верная служанка похоронила бабушку на православном кладбище. Могила затерялась.



*Бабушка Ида.*

*Мы, внуки, ее тень любили*

К концу девятнадцатого столетия в семье дедушки Бера и бабушки Иды было, как говорилось, восемь детей - семеро мальчиков и одна девочка. Кроме одного, все они затем получили высшее образование.

В семье строго придерживались ритуалов, предписанных религией. Еда в доме была kosherная. Перед Пасхой (Пейсах) в бабушкином доме начиналось светопреставление - следовало убрать отовсюду до последней крошки квасной хлеб и вообще все продукты, сделанные на дрожжах. Полностью на одну пасхальную неделю менялась вся посуда - кухонная и столовая.



*Этот снимок сделан в 1915 году по случаю приезда с фронта дяди Коли.  
Слева направо: Абрам, Коля, бабушка (сидят), Яков, Юлий, Люба (стоят)*

Первый сейдер, встреча праздника, был особенно торжественным.

Также торжественно отмечался праздник Хануки (в честь очищения Иерусалимского храма после того, как он был осквернен греками). В доме горели ханукальные свечи. И хотя я как была, так и осталась неверующей, я и сейчас зажигаю свечи в дни Хануки - в память о бабушке и всех моих близких, в память о нашем рухнувшем доме.

Мы, младшее поколение, не воспитывались в религиозном духе и поэтому не боялись кары Божьей. Мы просто были приучены к тому, что в доме бабушки следовало придерживаться традиций. Бабушку мы все любили, и по субботам обязательно кто-то из нас сопровождал ее в синагогу, неся в руках маленькое портмоне (ведь сама она «по закону» нести его не могла).

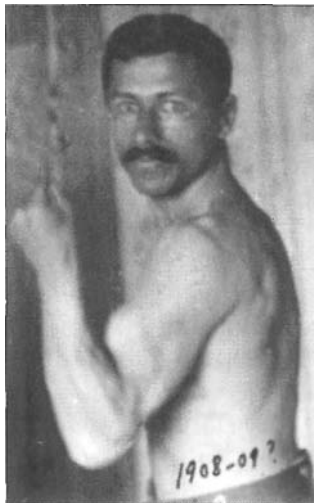
## ПОКОЛЕНИЕ МОЕГО ОТЦА

У моего отца было шесть братьев и одна сестра. Судьба каждого из них по-своему примечательна.

Старшего из братьев, дядю Носсона, мы, дети, обожали. Это был подтянутый, стройный человек, презиравший нас за обжорство. «Из-за стола, - говорил он, - надо вставать не сытым, а с желанием еще немного поесть». Этого постулата он придерживался всю жизнь и, единственный из своих братьев, дожил до восьмидесяти семи лет.

Как и все братья, он прошел через хедер (начальную еврейскую школу), а с восьми лет поступил в гимназию. Был завзятым гимнастом. Помню, что еще в семьдесят с лишним лет он мог делать стойку, опираясь одной рукой на спинку стула.

Дядя был человеком целеустремленным и ответственным. Все, что он затевал, старался доводить до конца. Его бедой (а может быть, и удачей) оказалось богатство деда. Носсону, как и другим братьям, не приходилось зарабатывать на жизнь, и он забросил свою врачебную практику. Его жизнь проходила в трех измерениях: он любил ухаживать за дамами, рыться в архивах и коллекционировать предметы и документы, относящиеся к истории еврейства в Эстонии. Из-под его пера вышло несколько небольших книг, связанных с историей евреев Прибалтики<sup>1</sup>. В коллекции дяди были редчайшие документы - например, адрес, преподнесенный евреями города Шклов императору Павлу I, брачный договор евреев Алжира, написанный на пергаменте, и многое другое. Дядя Носсон даже устроил дома небольшой музей по истории евреев. Но, увы, катастрофы XX века все это уничтожили и разбросали. Удивительнейшим образом сохранилось в одном из эстонских архивов генеалогическое древо нашей семьи, благодаря которому мы



*Дядя Носсон в молодые годы любил показывать бицепсы*

*Genss Nosson. Zur Geschichte der Juden in Eesti. I. (К истории евреев в Эстонии). Mit 4 Abbildungen. Tartu, 1933. 56 S. На немецком языке; Genss Nosson. Bibliographia judaica Eestis. (Библиография юдаики в Эстонии). Tallinn, 1937. На эстонском языке.*

сейчас можем установить наших предков вплоть до середины XVIII века.

Дядя Носсон пользовался большим успехом у женщин. В него были влюблены многие молодые девушки. Их притягивала интеллигентная внешность, тонкость и деликатность, музыкальность, умение писать стихи и прозу. Влюбившись, он воспевал предмет своей страсти если не в стихах, то в письмах и миниатюрных лирических эссе. И при этом Носсон был убежденным холостяком, своеобразным Подколесиным. В любовных похождениях он всегда умудрялся в последний момент вернуться от женитьбы. Дядя любил повторять высказывание своего кумира Сократа, который на вопрос, взять ли жену или вовсе не брать ее, отвечал: «Что бы ты ни избрал, все равно будешь раскаиваться...»

Наступил 1940 год. Эстония стала советской республикой. Надо было зарабатывать на жизнь. Дядя Носсон вспомнил свою профессию и стал офтальмологом. Поработать ему пришлось в провинциальном южноэстонском городке всего год, и тут началась война. Вернуться в Тарту к матери он уже не мог - немцы стремительно наступали. В летнем пальто, с чемоданчиком, в котором были образцы стекол для очков, без денег и в полной растерянности он бежал на восток. Добежал до Ульяновской области, где устроился врачом при больнице в небольшом поселке.

Там он познакомился с молодой вдовой, миловидной, любившей поэзию, неплохо рисовавшей. Она работала фармацевтом и приветила непрактичного растерянного доктора. Весной 1943 года у них родилась дочь, названная в честь Сталинградской победы - Викторией. Мой отец был вне себя. «В пятьдесят восемь лет заводить ребенка, притом что он вечно болеет - ведь он не доживет даже до той поры, когда девочка пойдет в школу!» Получилось всё иначе.

Носсон не только вырастил дочь, очень на него похожую внешне, прелестную и умную женщину, но даже дожил до ее свадьбы и до рождения внучки. И сам проводил эту внучку в первый класс.

На старости лет это был трогательный и несколько инфантильный романтик. Он собирал пословицы и поговорки народов мира, очень гордился, когда у него в коллекции появлялось что-то, чего он не мог обнаружить в толстых научных трудах профессиональных фольклористов.

Как и в юные годы, дядя продолжал писать эссе. Сохранилось одно из них - забавное и целомудренное, про историю поцелуя, с выдержками из литературы, начиная с античности и до наших дней. Однажды вечером он сидел у нас в гостях, и я уговаривала его остаться ужинать. «Не могу, - ска-

зал дядя Носсон. - Мне совершенно нечего читать перед сном, так что надо еще быстро успеть написать рассказ, чтобы было что прочесть!»

Сыновья дедушки Бера были совершенно лишены деловых способностей своего отца и за короткий срок с легкостью необыкновенной умудрились пустить под откос огромное состояние, заработанное дедом. К 1939 году процветающий торговый дом Генса был на грани разорения. Дело продали, деньги братья поделили между собой и быстренько всё проели.

Значительный вклад в распад наследства деду внес Нафтали, которого в семье звали Колей. После смерти отца в 1925 году Коля считал себя главным хранителем традиций и ответственным за дела в магазине. Но таланта к этому у него не было. Командовала им его жена, с которой он познакомился на медицинском факультете университета. Коля имел неосторожность спросить у моего отца, жениться ему или нет. Его невеста была сестрой богатейшего петербургского биржевика и племянницей художника Бродского, обладателя прекрасной коллекции живописи. Последнее для отца было решающим аргументом. И он сказал: «Женись». Соня была ханжой, играла светскую даму, и ее влияние на мужа оказалось не самым лучшим. Была она высокая и худая, Коля - полноватый и невысокого роста, и злые языки звали их за спиной «ночной горшок и швабра».

Самым ярким среди братьев был фантазер и авантюрист Иосиф. В семье его звали Джо.

Он обожал сочинять, его рассказы были полны всевозможных выдумок. Иосиф настолько правдоподобно фантазировал, что братья, прекрасно знавшие его слабость, тем не менее, развесив уши, слушали эти байки. Однажды, еще мальчиком, он пришел домой к обеду с сообщением, что рухнул Каменный мост - прекрасное сооружение в центре Тарту, соединяющее левобережье с правобережьем. И с такими подробностями рассказывал про это событие, что все ему поверили. Естественно, это была выдумка.



*Джо в Нью-Йорке  
в годы странствий*

Отчаявшись добиться от него толку, дед отправил Джо в Америку к своему брату в Сиэтл. Погостил он там недолго и, видимо, изрядно надоел родне. Когда дядя дал немного денег и выставил племянника на улицу, Джо отправился странствовать по Соединенным Штатам. Сменил много профессий - был механиком, извозчиком, чистильщиком сапог. Джо был красивым малым, с хорошей спортивной фигурой и обаятельной улыбкой. На фотографиях он выглядел как голливудский актер. С этими фотографиями ходил с фермы на ферму, рассказывая, что он со своим другом пешком идет в Южную Америку, на Огненную Землю. Простодушные фермеры давали ему ночлег и кормили, а он взамен оставлял им свою фотографию с автографом. Таким образом Джо пересек Соединенные Штаты с востока на запад. Потом он нанялся на океанский лайнер коком, был в Индии, Китае, Японии, Австралии. Домой он вернулся в возрасте тридцати трех лет, сильно изменившимся. Его «университеты» не прошли даром, они выковали из него энергичного и целеустремленного человека.

Работа в магазине отца его не привлекала. Он решил стать самостоятельным. В Ковно (нынешний Каунас) ему удалось достать засекреченный рецепт алюминиевого сплава, пригодного для производства посуды. Вернувшись в Тарту, Джо открыл небольшую фабрику, взяв в компаньоны одного негоцианта из Германии. Дело начало процветать. Но когда всё наладилось, ему стало скучно. Он продал компаньону свою долю и придумал новое дело: с другим приятелем открыл производство пуговиц из костной муки. И опять, когда всё наладилось, заскучал и снова продал свою долю. Кстати, это дело потом переросло в известную в Эстонии фабрику «Tartu kammivabrik». Потом, я помню, он открыл небольшое производство зонтов.

Джо любил жить широко и выписывал векселя направо и налево. Время от времени, когда наступало время оплаты, братья собирались на семейный совет и скрепя сердце выкупали его долговые обязательства.

В 1938 году Джо с семьей решил уехать в Палестину. С деньгами было туго, наследство таяло. Забрав всё свое имущество, а были у него презанятные вещи, которые он привез из своих странствий, Джо с семьей покинул Эстонию. После мы узнали, что он купил небольшой особняк в Хайфе и держал механическую мастерскую. Но потом наши контакты прекратились. Советская власть, а вскоре и война прервали все связи. В 1945 году мы узнали печальную весть: в возрасте пятидесяти шести лет дядя Джо скончался в страшных мучениях от рака костей.

Дядя Абрам являл собой еще один вариант «еврейской судьбы». Юношей он подружился с молодым анархистом и усвоил его взгляды на жизнь. Приятель снабжал его революционной литературой, часть которой перепадала и братьям. Учился Абрам на Высших медицинских курсах профессора Ростовцева. Он стал буквально бредить революцией, социализмом. Причем эти идеи часто материализовывались в реальные поступки. Так, он согласился по просьбе друга-анархиста спрятать у себя дома прокламации и гектограф.

Близился 1905 год. Идеи революции все шире захватывали молодежь. На чердаке дома Генсов появились револьверы. Пошел 1906 год, в России начались погромы. Старшие братья вступили в еврейскую самооборону и были все вооружены. Кончилась эта деятельность тем, что по доносу бухгалтера магазина был отдан приказ произвести в доме «купца Генса» обыск. Я уже писала, что благодаря хладнокровию деда оружие не было найдено, но нашлась нелегальная литература. Впоследствии, роюсь в Лифляндском жандармском архиве, дядя Носсон обнаружил в деле семьи Генс документ, в котором было указано, что во время обыска конфисковали около семидесяти книг и брошюр. Кончилось тем, что деда три недели продержали в полиции, а троих старших братьев - три месяца в местной тюрьме. Главный же «революционер», Абрам, остался дома и с явной завистью глядел, как увозят в тюрьму его старших братьев.

Когда приблизился 1917 год, Абрам успел сдать экзамены на медицинских курсах за десять семестров. В России разыгрывалась одна революция за другой. Дядя Абрам «бил копытом» от нетерпения, как хорошо наезженная скаковая лошадь. Он решил ехать в Россию и строить там социализм, о котором начитался в книжках. И хотя у него еще не было диплома врача, Абрам был уверен, что нужен революции именно как врач. И вот, как рассказывают, в одно прекрасное утро он встал со своей чистой, удобной постели, позавтракал глазуньей и стаканом какао и с тощим чемоданом укатил в Москву, а оттуда - в Киев.

Поскольку молодая власть нуждалась в образованных людях, его послали работать в Полтаву, где вскоре назначили заместителем комиссара по здравоохранению. Но тут на город нагрянули то ли деникинцы, то ли махновцы, и дяде Абраму, как он нам сам рассказывал, пришлось удирать из Полтавы, перелезая через заборы и пробираясь задворками. Деваться было некуда, и он снова вернулся в Юрьев, под отчий кров. Помылся, приоделся, стал снова спать в удобной постели на крахмальных простынях, утром завтракал глазуньей, на обед съедал очередной бифштекс, очень

скоро затосковал от этого благополучия и снова бросился в хаос революционной России.

Здесь по-прежнему была нужда в врачах. В 1919 году он очутился в Ростове-на-Дону, где, вместо того чтобы лечить других, сам заболел сыпным тифом. За ним ухаживала красавица медсестра, родом из богатой рижской семьи. Как и Абрам, она тоже увлеклась идеями социализма и ринулась в гущу революционных событий. Там же, в Ростове, они и поженились. Трудно представить себе более разных людей, чем тетя Дора и дядя Абрам. Он - с легким характером, азартный, любитель пропустить рюмочку, обожавший поиграть в карты и на скачках, бесконечно добрый и душевный человек. Она - идейная коммунистка с чуть ли не дореволюционным стажем и с обостренным чувством долга. Они были слишком разными: по темпераменту, а главное, по взглядам и интересам. Дядя Абрам называл свою жену «Шутки в сторону». После того как у него прошел революционный угар, он стал относиться к жизни легко, даже легкомысленно. Вступив по настоянию жены в коммунистическую партию, был оттуда «вычищен за пассивность».



*Революционно настроенный Абрам жил в Москве. В годы войны он был начальником эвакуогоспиталя*

Всю войну, с 1941 по 1945 год, дядя Абрам был начальником военного госпиталя. Последние годы жизни он работал в методическом кабинете Басманной больницы и серьезно занимался историей медицины.

Один из младших братьев, Зали, был милым, доброжелательным человеком. Когда немного выпивал, становился очень остроумным. Но интеллектуалом никогда не был. Думаю, что за свою жизнь, кроме газет, ничего не прочитал. Фармацевт только по образованию, он пошел служить в магазин отца. Зали был членом добровольной пожарной дружины и обожал в начищенном до невыносимого блеска кивере маршировать в ее рядах на парадах.

Зато Яков, последний из восьми детей, был настоящим интеллектуалом. В двенадцатилетнем возрасте он затеял издавать домашнюю газету «Голос мыслящего», стал ее издателем и главным редактором (с десятков экземпляров сохранилось). Материал в газете публиковался самый разный, личные семейные новости перемежались сообщениями о смерти Льва Толстого и яркими корреспонденциями школьного товарища братьев Генс - Александра Раевского, ставшего одним из первых российских авиаторов.

Уже в пятнадцать лет Яков получил известность и как общественный деятель. Пожилые члены правления еврейской общины приходили к нему советоваться по разным вопросам. В двадцатилетнем возрасте он стал редактором настоящего журнала «Еврейская молодая мысль» и опубликовал там множество своих статей.

Учился он, как и остальные братья, на медика. По окончании университета отправился в Вену для усовершенствования. Но его так блестяще начавшаяся жизнь неожиданно оборвалась: в возрасте двадцати шести лет, во время операции аппендицита, он скончался от тромбоза в Вене. Там его и похоронили на еврейском кладбище.

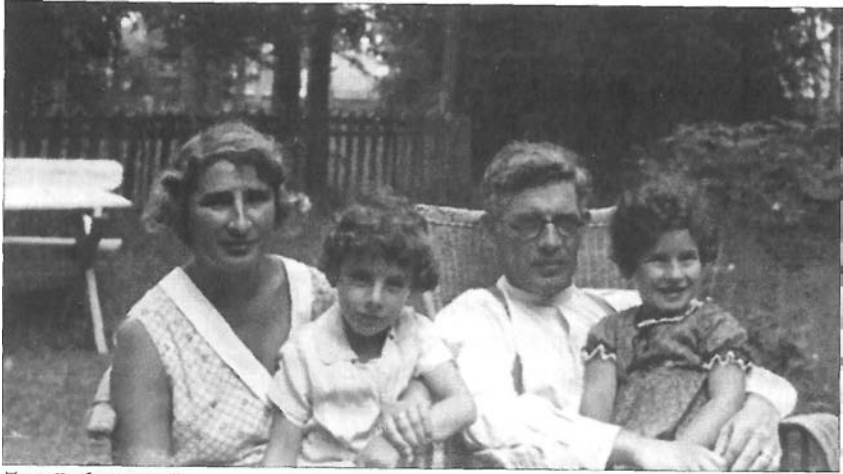
Еще более трагически сложилась судьба единственной сестры братьев Генс - Любы. Она влюбилась в самоуверенного и деспотичного Герма на Брашинского из семьи, владевшей большим галантерейным магазином в Таллине. Если семья Генс торговала галантереей на юге Эстонии, то Брашинские занимались тем же, но уже на севере. В отличие от Генсов они не разорились и после прихода советской власти были отправлены в Сибирь: мужчины - в лагеря, из которых им уже не суждено было вернуться, а жены с детьми - в ссылку, откуда они с трудом выбирались уже после смерти Сталина.

Герман и Люба тогда избежали высылки, вероятно, потому, что жили не в Таллине, а в Тарту.

Когда грянула война между Германией и Советским Союзом и немцы стали стремительно занимать Прибалтику, все евреи, кто только мог, эвакуировались на восток. Но муж тети Любы твердо заявил, что не поедет



*Яков, возможно, стал бы самым ярким из братьев, но скончался в возрасте 26 лет. 1916*



*Тетя Люба с семьей*

в страну, где «нет нормальных уборных». Тетя Люба колебалась, но по другим причинам: она не хотела оставлять престарелую мать. Так они и не уехали себе на погибель.

Всех оставшихся в Тарту евреев поселили в здании еврейской школы на Александровской улице. Старостой этой небольшой общины была назначена тетя Люба. Когда после войны обнаружили архивы местного отдела гестапо, там нашли много фотографий нашей семьи. И всюду, где была Люба, карандашом кем-то было отмечено: «Juudi Bürgermeister» («еврейский бургомистр»).

Однажды, в первые недели оккупации, встретив на улице жену писателя Фридеберта Тугласа, тетя Люба сказала ей, что идет в немецкую администрацию хлопотать, чтобы их перевели в Рижское гетто, так как здесь они чувствуют себя в большой опасности. Но осуществить задуманное так и не успела.

В один из вечеров ноября 1941 года жители соседних со школой домов слышали страшные крики и плач. Выглянув из окон, они увидели, что к школе подогнаны грузовики, куда заталкивают евреев. Видимо, те понимали, что, поскольку их берут без багажа, это не переселение в Рижское гетто, а нечто гораздо более страшное. Всех привезли к противотанковому рву близ города, где они и были расстреляны.

Подробности мы узнали уже после войны из уст хуторянина, жившего неподалеку от места убийства и все видевшего своими глазами. Он расска-

зал отцу, что узнал тетю Любу, которая была хорошо известна в городе. Она прижимала к себе детей, раздетых до рубашки, стараясь, чтобы они не видели направленные на них дула автоматов. Эта страшная картина преследует меня всю жизнь и заставляет содрогаться по сегодняшний день. Дочери тети Любы было тогда пятнадцать лет, сыну - двенадцать.

О судьбе Германа у меня нет точных сведений. Рассказывают, что когда немцы заняли Тарту, то первым делом для устрашения населения повесили на площади трех мужчин. Одним из повешенных будто бы был Герман Брашинский.

## ДЕТСТВО. РОДИТЕЛИ

Мой отец всю свою жизнь посвятил собиранию книг и произведений искусства. Чтобы был понятен путь его духовного становления, приведу несколько фрагментов из второго (неизданного) тома его воспоминаний:

*«Из ярких моментов моей гимназической жизни я хочу упомянуть дружбу с вновь поступившим учеником - Борисом Энгельгардтом. Его отца выслали из Петербурга, и он поселился в Юрьеве. В продолжение целого года я ежедневно после обеда приходил к Энгельгардтам и оставался там допоздна. Уотца Бориса была огромная библиотека. В этом доме я познакомился со всеми классиками мировой литературы... Из мещанско-купеческой среды я попал в другой мир, в высокоинтеллигентную семью с многолетними культурными традициями. Прадед, дед и отец моего друга значились в Энциклопедии. Год, проведенный в этой семье, оставил глубокий след и, безусловно, сказался на формировании моего характера и духовного мира<...>».*

*Я стал рано интересоваться искусством. Еще в гимназические годы начал приобретать книги по искусству. Выставка картин Верещагина, показанная в Тарту в начале нынешнего столетия, - первая, которую мне удалось посмотреть. А первым музеем, который я посетил, был музей античных слепков и статуй при Юрьевском университете. Экскурсия в 1904 году в Петербург дала мне возможность впервые попасть в Эрмитаж и музей Александра III (ныне Государственный Русский музей). Следующие посещения музеев и картинных галерей связаны с моей поездкой по России в 1910 году. Я был в Риге, Киеве, Одессе, пешком обошел часть Крыма,*

*пешком же прошел по Военно-Грузинской дороге. Возвращался я на пароходе по Волге и через Москву и Петербург вернулся домой...»*

В студенческие годы отец стал брать уроки живописи у местной портретистки Елизаветы Рудольф. Нелюбовь к юриспруденции подтолкнула к мысли обрести по-настоящему любимую специальность. Поскольку дед к тому времени разбогател, отец имел возможность продолжить свое образование. Он отправился в Мюнхен, где поступил на архитектурный факультет Мюнхенской академии художеств. Снова обращаюсь к его воспоминаниям:

*«Три семестра в Мюнхене и поездка в Италию в 1912 году превратили мое книжное знание искусства в фактическое. В те годы я уже не смотрел картины, я их изучал, отмечал индивидуальный почерк художников, научился узнавать живописные школы... Любил блуждать по Старой Пинакоотеке среди ранних мастеров, среди итальянских и немецких примитивов. Рембрандт и Микеланджело сделались моими богами; Леонардо оставлял меня холодным. Однако моя установка на искусство была по-юношески максималистской. Я знал, что увлекаться Рафаелем стыдно, как и был уверен, что мимо Репина надо проходить не глядя. Потому в миланской «Брере» гордо прошествовал мимо рафаелевского «Обручения». Не помогло и то, что возмущенный таким пренебрежением служитель зала побежал за мной, толкая о двух миллионах лир, которыми оценивалась картина. Очаровал меня Боттичелли - до поездки в Италию я его почти не знал».*

Увлечение музеями, посещения картинных галерей привели к постоянным и мучительным головным болям. У отца была сильная близорукость, работать в чертежной стало трудно, и он понял, что с архитектурой надо проститься. Пришлось вернуться в Тарту. Но провинциальная жизнь маленького университетского городка после нескольких лет, проведенных в Германии, стала невыносимой.

*«Через месяц я уже был в Москве. Нашел комнату в квартире, где уже жили два адвоката. Затем посетил магазин Дейбнера, где заказал художественные журналы "Kunst" и "Studio". Уплатить вперед за подписку было нечем, попросил у хозяина рассрочки платежа. Тот спросил меня, кто я. Узнав, что я адвокат (разговор шел на немецком языке), он спросил, не хочу ли принять у него одно взыскание. Я согласился, получил разрешение на платеж в рассрочку и пошел к ответчику. Это был книжный магазин на Кузнецком мосту, бывший в ликвидации. Ответчик, даже не спросив у меня доверенности, деньги тут же уплатил. Так я стал адвокатом. Мне было тогда совершенно безразлично, чем заниматься, лишь бы остаться в Москве».*

В Москве, заполненной букинистическими магазинами, отец мог полностью реализовать свое увлечение книгами. Он встречался там и с интересными людьми, сошелся с кубофутуристами, бегал на лекции по искусству и на различные диспуты. И, как написал впоследствии, «с путаницей в голове и комплектом газеты "Искусство", полной программ, манифестов, резолюций, я вернулся стопроцентным формалистом домой в Эстонию».

С 1918 года отец активно включился в деятельность недавно созданной группой эстонских художников и писателей общества «Паллас», ставившей своей задачей пропаганду и распространение искусства. Главным достижением общества стало открытие в 1919 году художественной школы, в которой отец выступал с лекциями. Для него это было дуновением свежего воздуха, спасающего от нелюбимой работы, которой он занимался для содержания семьи. По инициативе общества «Паллас» были организованы десятки художественных выставок. Естественно, отец принимал во всем этом активнейшее участие.

Он стал также активным еврейским общественным деятелем «левого крыла», пропагандистом еврейской культуры. Отец был членом правления Еврейской культурной автономии, предоставленной евреям в 1926 году эстонским правительством. Культурная автономия, с одной стороны, сыграла большую роль в развитии просвещения и культуры еврейского населения, но, с другой, способствовала национальной замкнутости, поскольку вела к обособлению только внутри своей национальной группы.

Центром еврейской культурной жизни в Тарту было «Академическое общество еврейской истории и литературы»<sup>1</sup>, основанное еще в конце XIX века и просуществовавшее до 1940 года. В нем с докладами по еврейской истории, культуре, литературе и искусству выступали не только представители тартуской интеллигенции, но и многие приезжие докладчики. В 1937 году на Всемирном антифашистском конгрессе еврейской культуры в Париже отец представлял эстонскую еврейскую общественность.

До 1934 года наша семья жила в Тарту. Потом, когда отец стал представителем шведского спичечного треста «The Timber Company» в Эстонии, мы переселились в Таллин. К тому времени библиотека отца была одна из крупнейших в Прибалтике по искусству, а дом набит картинами и скульптурами.

<sup>1</sup> «Academischer Verein für jüdische Geschichte und Literatur», основанный в 1884 году, сыгравший в 30-е годы XX века ведущую роль в развитии культурной жизни эстонских евреев.

Отец очень бережно относился к книгам и разрешал мне смотреть картинки только после того, как убедился, что я научилась правильно перелистывать страницы, не слюнявя пальцы, аккуратно взявшись за верхнюю кромку страницы и осторожно ведя рукой до ее низа. Замечу, что в свои 10-12 лет я знала историю искусства значительно лучше, чем сегодня, могла часами разглядывать альбомы японской ксилографии XVIII-XIX веков, вызывавшие у меня особенный интерес. Многофигурные композиции, изображенные художниками как бы взглядом сверху, давали богатый материал для детской фантазии и утоления любопытства.

Я рано стала ходить с ним на выставки. Мне было лет семь, когда мы отпраздновали в таллинский Дом искусств, что в центре города на площади Свободы, на открытие выставки дальневосточного фарфора. Вокруг стендов были протянуты толстые веревки, за которые нельзя было заходить. Вдруг отец, зайдя за веревку, поднял со стенда китайскую тарелку и стал ее рассматривать. Во мне всё замерло от ужаса, я знала, что этого делать никоим образом нельзя, и ждала строгого окрика и суровых санкций. А вместо этого услышала чей-то подобострастный голос: «Ну что, господин Генс, вещь настоящая или поздняя подделка?» Я чуть не лопнула от гордости при мысли, что вот - никому нельзя, а моему папе можно!

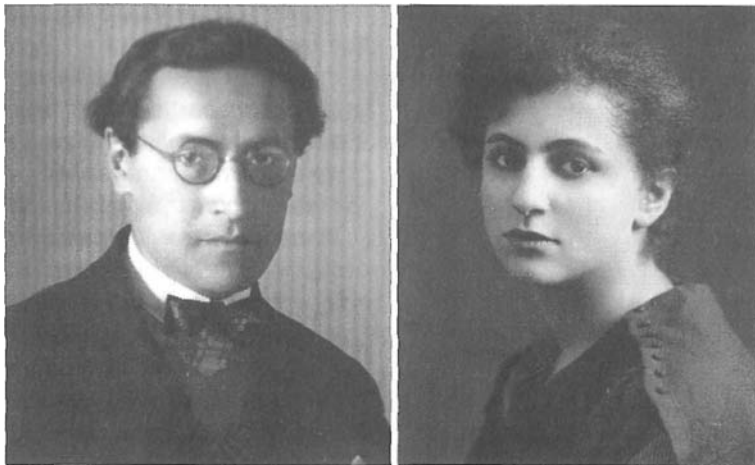
Отец много мною занимался. Сколотил из фанеры сцену, научил меня делать фигурки из папье-маше, писать декорации и требовал, чтобы я на моей маленькой сцене повторяла спектакли, на которые меня водили.

Он очень много значил в моей жизни.

Другие отношения сложились у меня с моей прелестной, живой, умной и нежной мамой.

Брак моих родителей был абсолютно гармоничен. Я не помню, чтобы между ними когда-либо прозвучало громкое или резкое слово. В доме господствовал культ мамы. Ее нельзя было назвать красавицей, но она была необыкновенно хороша со своими огромными карими глазами и стройной фигурой. Но главным ее украшением стали доброжелательность и неизменная жизнерадостность.

Мне рассказал один наш знакомый, что году в 1916-м он сел на конку. Дело происходило в Ревеле (Таллине), родном городе мамы, который был тогда одним из главных военно-морских портов Российской империи на северо-западе. Город был набит военными. И наш знакомый обратил внимание, что морские офицеры, заполнившие вагончик, смотрят куда-то назад, на последнее сиденье. Он обернулся и увидел очаровательную девушку с коп-



*Такими были мои родители в год знакомства*

ной вьющихся каштановых волос и блестящими карими глазами. Оторваться от этого юного лица было просто невозможно. Позже их познакомили. Прелестная девушка оказалась гимназисткой по имени Берта Мальтинская. Свое имя мама ненавидела, оно ей напоминало знаменитую пушку, участвовавшую в сражениях Первой мировой войны и прозванную «Большая Берта».

Училась мама из рук вон плохо. Но с увлечением читала, очень любила музыку и прекрасно играла на рояле. Она была способна к языкам: кроме немецкого, эстонского и идиш, хорошо говорила по-французски. Но больше всего любила веселиться, танцевать и кружить головы молодым людям, оставаясь при этом абсолютно порядочной и благовоспитанной девочкой.

С трудом и стенаниями она все же окончила гимназию в возрасте двадцати лет и, как это стало традицией для хорошеньких девушек во все времена, поступила на филологический факультет Тартуского университета. С первого же дня появления в Тарту ее окружали сонмы поклонников. Первым в нее влюбился старший из братьев Генс – Носсон. Романтик и поэт, он писал ей стихи, музицировал у нее вечерами, приходил с букетами цветов. И в этом вовсе не был одинок. По окончании занятий мамина комната в Тарту наполнялась влюбленными в нее молодыми людьми из еврейских семей, ибо другие поклонники были в то время невозможны.

И тут среди воздыхателей появился мой будущий отец. Он приходил каждый вечер, но в отличие от своих соперников, которые стремились

всячески себя проявить, садился где-нибудь в углу, вынимал из кармана книжку и погружался в чтение. Через какое-то время вставал, учтиво прощался и был таков. Такая форма ухаживания принесла неожиданный успех. Как мне потом рассказывала мама, уже через две недели она не замечала кругом никого, кроме странного поклонника с книгой в руках. Всё это кончилось тем, что она, проучившись два семестра в университете, вышла за него замуж.

Как тогда полагалось, свадебное путешествие состоялось в Италии. Отец затаскал маму по музеям, он был замечательным гидом. Но наступил момент, когда маме показалось, что она ошиблась в выборе спутника жизни, так как интеллектуальный напор отца стал временами для нее слишком обременителен. А кончилось свадебное путешествие тем, что отец на последние деньги купил маме булку, посадил ее на лестнице площади Испании в Риме и велел ждать. А сам помчался добывать деньги, чтобы можно было вернуться домой. Бедная мама, глотая слезы, жевала сухую булку и со страхом смотрела в будущее.

Но будущее оказалось прекрасным. Родители объездили всю Европу, встречались с интересными людьми, мама окунулась в мир искусства, который пришелся ей по душе. И потекла беззаботная жизнь. Маминой обязанностью было вести дом и придумывать меню для кухарки, которая когда-то служила в доме Шаляпина и изумительно готовила. Маме было достаточно сказать ей утром, что к ужину будут гости, и больше не заботиться ни о чем. Она могла быть уверена, что стол будет накрыт как надо, а еда будет вкусной. Родители понимали, что Альвине (так звали кухарку) была не очень скрупулезна в своих финансовых отчетах, но отец говаривал, что за такие вкусные соусы можно и материально пострадать. Однако они не предполагали масштабы махинаций Альвине. В 1939 году, проработав у нас в семье почти двадцать лет, она уволилась, купила себе трехэтажный доходный дом и стала жить как домовладелица. Но, увы, пришла советская власть, дом национализировали, и бедная Альвине осталась ни с чем. После войны она хотела к нам вернуться, но у нас уже не было возможности содержать домработницу.

В свободное от хозяйственных распоряжений время мама занималась рукоделием. Она прекрасно вышивала, вязала нам и себе красивые вещи. Много музицировала. Владея звучным сопрано, участвовала в спектаклях любительской еврейской оперетты и, выступая в «Сильве», по-прежнему разбивала мужские сердца. Мама была начитанна, а в лице отца обрела своего Пигмалиона. Она боготворила отца и никогда ему ни в чем не перечила.

Правда, когда из очередной поездки по Европе отец привез купленную на аукционе в Англии каменную лошадку эпохи Тан (VII-X вв.), длиной сантиметров в 45, извлеченную из какой-то китайской гробницы, мамино долготерпение почти лопнуло. Дело в том, что каменная лошадка за время своего долгого пребывания в захоронении приобрела какой-то ужасный, просто невыносимый запах, зловоние распространилось по всей квартире. И мама сказала: «Или я, или лошадь». Но отец нашел выход: он заказал для лошадки герметичный стеклянный ящик, и все были довольны.



*Мой брат Лева в тартуской квартире*

Мне очень хотелось бы увидеть мамину реакцию, если бы

отцу удалось купить то, о чем мечтательно вспоминал многие годы, - роскошную мумию в нескольких саркофагах, виденную им на одном из аукционов в Германии. Ведь тогда, в 20-е годы, в Германии за гроши можно было купить бог знает что, поскольку страну охватила неслыханная инфляция, а эстонская крона ценилась очень высоко.

В три года меня отдали в детский сад. Считалось, что ребенок должен научиться общаться с другими детьми. Детский сад сестер Хаузен отличался тем, что там разговаривали только по-французски.

Первый день в детском саду запечатлелся в моей памяти. Дома мне объяснили, что разговаривать здесь по-немецки нельзя, а можно только по-французски. И на всякий случай подсказали, как по-французски проситься на горшок. Помню, что освоение языка не представляло особых трудностей: я волей-неволей должна была заговорить и скоро действительно усвоила французский язык.

С детским садом связано у меня одно событие, которое оставило горький след в моей душе. В этот же садик ходила моя любимая двоюродная



*В папином кабинете собралась наша семья. Сидят на полу: папа, Носсон, мама. За ними справа дедушка, бабушка и «Швабра». 1922*

сестра Аточка, старше меня на два года. И за мной, и за ней в определенное время приходили наши гувернантки. В один печальный для меня день за мной никто не пришел. Все дети разошлись, а я сидела одна на полу в большом зале, играла с заводной мышью. И меня одолевали грустные мысли. Дело в том, что незадолго до этого на улице я услышала, как две дамы, глядя на меня, сказали: «Надо же, у красавицы Берточки Генс такая некрасивая дочь». Я это расслышала. Но особенного внимания на эти слова не обратила. Однако, когда за мной не пришли, я вдруг подумала, что моим родителям я не нужна, так как я некрасивая. Мысль эта сверлила сознание, и я была в полном отчаянии. Сестры Хаузен время от времени заглядывали в зал, чтобы посмотреть, что я делаю, но поскольку их рабочий день кончился, они уже жили в задних комнатах своей частной жизнью. Потом только они догадались позвонить нам домой, и за мной тут же пришли. Выяснилось, что произошло недоразумение: гувернантка Аточки должна была и меня забрать, но забыла. Страх, что меня из-за моей некрасивости могут подбросить чужим людям, мучил меня еще многие годы.

Через несколько лет, когда мы уже жили в Таллине, в еврейском клубе устроили бал-маскарад для детей. Из голубого шелка, отпоротого от старых одеял, мне сшили красивое платье, как для взрослой дамы, эпохи рококо, с кринолином и рюшками. В этом наряде мама и привела меня в еврейский клуб. Было замечательно весело, мама сидела в том же зале, беседовала со своими светскими подругами. Но вдруг я потеряла ее из вида. Во мне пробудились прежние страхи, и я зарыдала что есть силы. На мой рев прибежала мама, повела в туалет, приподняла мои роскошные кринолины, и мне хорошо досталось по попе. Это был единственный раз в жизни, когда меня так наказали.

Страх быть брошенной прошел, только когда мне разрешили без сопровождения ходить в школу (было это, кажется, во втором классе). Тогда я настроилась решительно и поняла: хотят ли меня родители или нет, но домой я вернусь в любом случае. Всё это чрезвычайно странно, так как в доме я была окружена всеобщей любовью.

И еще одно раннее воспоминание из тартуской жизни, оставившее рану в моей душе. Мне было уже лет семь, моей подруге Рехен - четыре. Жили мы тем летом в Нарва-Йыэсуу, самом шикарном эстонском курорте. В Нарва-Йыэсуу отдыхали и шведы, и немцы, он считался значительно более изысканным и элитарным курортом, чем Рижское взморье. На берегу моря стояли казино «Вилла Каприччио» и большой ресторан. Пляж был значительно короче Рижского - километров семь, но широкий. Белоснежный песок, сосны, река, неподалеку лес - всё обещало замечательный отдых. На пляже мороженщики торговали вкуснейшим мороженым. Мы, дети, любили следить за тем, с какой ловкостью они вкладывали вафлю в формочку, затем забивали ее мороженым разных сортов, покрывали мороженое второй вафлей и ловко выбивали эту роскошь из формочки.

Одним из ритуалов летней жизни в Нарва-Йыэсуу была поездка по реке к далекой мельнице, где полагалось сидеть за простыми стругаными столами и пить холодное молоко с большими ломтями деревенского хлеба, густо намазанными свежим маслом и медом. В этом ежегодном ритуале с удовольствием принимала участие, хотя молоко ненавидела.

В большом нарва-йыэсуувском парке стояло импозантное здание Курзала. Там проводились балы и прочие мероприятия для развлечения отдыхающей публики. Тем летом появилось объявление, что такого-то числа в Курзале будут выбирать принцессу красоты. Приглашаются все девочки. Я знала, что мне туда идти не надо, что это не для меня. Мама же считала,

что если я не буду участвовать в этом детском празднике, то почувствую себя ущербной и несчастной. Рехен же была прехорошенькая: блестящие черные волосы, огромные карие глаза, точеный носик - одним словом, прелестный ребенок. Даже сегодня, когда ей перевалило за семьдесят, она все равно очаровательная женщина.

Итак, собрались все мамы с принаряженными девочками. На сцене Курзала играл оркестр. Детей заставляли ходить парами по кругу, где их рассматривало строгое жюри. Я шла в паре с Рехен, и из глаз у меня тихо текли слезы, нос и глаза краснели, и от этого лучше не становилась. Чувствовала себя униженной и никчемной. Кто-то из членов жюри подошел к нашей паре и поднял вверх Рехен. Кругом раздались аплодисменты. У меня слезы полились еще пуще, и не из чувства зависти. Просто я понимала, что мне не место на этом празднике жизни. В конце концов принцессой красоты выбрали какую-то белесую голубоглазую эстонскую девочку. Не еврейскую же девочку выбирать! Такое унижительное и, в общем, непедagogичное мероприятие я запомнила на всю жизнь.

И еще об одном приключении в Нарва-Йыэсуу. Это, видимо, было последнее лето перед установлением советской власти. Я уже была гимназисткой, должна была перейти в пятый класс. В один прекрасный день весь курорт покрылся афишами, сообщавшими, что приезжает знаменитый фокусник Кастроцца и будет выступать вечером в ресторане при пляже. Имя его звучало тогда очень громко, и, естественно, мы, дети, мечтали посмотреть его выступление. Но нам было ясно, что родители нас туда не поведут. Вечер, ресторан, какой-то Кастроцца! Надежды не было. Тогда я подговорила Аточку, чтобы она убедила свою подругу Луллу, прелестную девушку лет четырнадцати, чтобы та в свою очередь попросила влюбленного в нее молодого человека (ему было лет семнадцать, и он казался нам совсем взрослым) пойти с нами на Кастроццу. Молодой человек ради Луллы был готов на всё, и в день выступления мы тихонько собрались у ресторана. Компания была следующая: мой двоюродный брат десяти лет, я - одиннадцати, Аточка и Лулла почти по четырнадцати и «взрослый» семнадцатилетний кавалер. Когда ресторан открылся, мы первыми ворвались внутрь, чтобы занять лучшие места у самой танцплощадки. К нам подошел несколько обескураженный нашим видом официант и сказал, что за этим столиком надо заказывать либо ужин, либо бутылку вина. Поскольку мы все уже были накормлены дома, то проголосовали за вино. Кавалер был из богатой семьи, и расходы его не смущали. Принесли бутылку вина, разлили его по бока-

лам, и мы стали с нетерпением ожидать дальнейшего. К нашей радости, представление скоро началось, и восторг был всеобщим. До тех пор, пока Аточка не толкнула меня ногой под столом и не указала глазами на окна. Там стояли все наши мамы и папы в ужасе от представившейся им картины. Хотя их ужас и был смешан с облегчением, поскольку, нигде нас не находя, они ожидали худшего. Если бы в зале случился быть кто-то из наших учителей, мы все разом вылетели бы из гимназии. С этим было строго.

Через два года, в проклятый и холодный ноябрьский день 1941 года, все участники этого приключения, за исключением меня, стояли на краю противотанкового рва на окраине Тарту под немецкими автоматами. Здесь им было суждено окончить свои дни.

## ДОМ И ЖИЗНЬ В ТАЛЛИНЕ

Вернусь в осень 1934 года, когда переезд в Таллин во многом изменил мою жизнь.

Помню, отец ездил в Таллин искать квартиру. Главной проблемой были стены. Я только и слышала рассказы, как он ходил по сдававшимся в аренду квартирам и мерил сантиметром длину стен. В итоге из-за библиотеки наша новая квартира в Таллине была огромной. Она занимала первый этаж большого особняка, построенного финским архитектором Линдгреном, тем самым, который возвел в Таллине здание оперного театра. Дом принадлежал главному врачу Фридриху Акелу, занимавшему одно время пост министра иностранных дел Эстонии.

В этой восьмикомнатной квартире с очень высокими потолками была большая, метров в пятьдесят с лишним, передняя. И она вся - в книгах. Отцовский кабинет был еще более обширным, как и гостиная, которая смотрела высокими французскими окнами в сад. И всюду были книги!

В первый же день приезда я там заблудилась, не могла никого найти, и меня обнаружили зареванную в углу одного из коридоров. Размеры квартиры и комнат меня, маленькую девочку, угнетали безмерно. Не случайно я играла со своими куклами в углу детской, где ухитрялась при помощи стола, поставленного на попу, и уложенных набок стульев отгородиться от остального пространства, чтобы почувствовать себя уютнее.



*Обособняк, построенный финским архитектором Линдгреном.  
Мы занимали первый этаж. Фото 2005 года*

Мне исполнилось шесть лет, я выросла достаточно разумной девочкой, но почему-то убедила себя, что в папином кабинете живут ведьмы. Комната действительно могла напугать ребенка: в ней было что-то от готических замков. Площадь ее превышала шестьдесят метров, полукругом шли высокие окна, застекленные в мелкую клетку, все стены в книгах, в центре большой письменный стол, от которого отходила низкая книжная полка, разрезающая кабинет на две части. В углу огромный камин, достоящий почти до потолка, высокие двустворчатые двери. Я понимала, что признаваться в своих страхах глупо, но ничего поделать не могла. И когда отец просил вечером принести ему очки или другой предмет с его письменного стола, я безропотно, но с замирающим сердцем отправлялась в кабинет. Дело осложнялось еще и тем, что электричество там включалось не рядом с дверью, а на противоположной стене. И я, дурочка, входила в комнату, делала глубокий реверанс и говорила: «Дорогие ведьмы, я была сегодня послушной девочкой!» Затем, быстро включив свет, брала с письменного стола то, о чем меня просил отец, выключала свет и, пятясь, с реверансами, вылетала из кабинета, не забывая на прощание отвесить еще один глубокий поклон ведьмам. Так продолжалось почти год, пока я не пошла в школу и думать о ведьмах мне стало некогда.

Понемногу жизнь в Таллине наладилась. В доме жили еще дети моего возраста, я играла с ними во дворе и наконец выучила эстонский язык, который до той поры не знала. Иногда мы играли в большом саду, примыкавшем вплотную к нашей квартире, отец разводил в нем цветы и клубнику. Сейчас сад вырублен, на его месте находится стадион при школе, в которой когда-то располагался Французский лицей.

Утром отец уходил в свою контору, которая была расположена близко от дома. В половине третьего он возвращался, семья садилась обедать, а после обеда отец, с регулярно начинавшейся мигренью, ложился на диван. В виде особой награды мне разрешалось сидеть рядом с ним и менять у него на лбу мокрое полотенце.

Эти головные боли преследовали его всю довоенную жизнь. Врачи считали, что причиной является его плохое зрение и большая разница в диоптриях обоих глаз. Когда началась война и мы сели в эшелон, отец вздохнул и сказал маме: «У меня всего шестьдесят таблеток пирамидона. Это значит, я обеспечен на шестьдесят дней. А что будет дальше? Есть ли в Советском Союзе пирамидон?» Когда пришла Победа, все шестьдесят таблеток были целы. Война излечила отца от мигрени, и больше она никогда не повторялась.

Мой брат Лева учился в реальной гимназии (Reaalkool), но как-то не прижился там и в девятом классе (а школьное образование в Эстонии до войны длилось двенадцать лет) перешел в еврейскую гимназию. Это было странное учебное заведение. Школа совсем небольшая и в годы независимой Эстонии разделялась на две части. В одной учились на иврите, эта часть школы была сионистского толка. В другой - на идиш, служившим разговорным языком в еврейских семьях небольшого достатка. Эта часть школы была демократического направления. В еврейской общине (а в довоенной Эстонии жило всего около четырех с половиной тысяч евреев, меньше 0,5% всего населения страны) шла постоянная борьба между левыми и правыми. Вышесказанное касалось и школы, и всей еврейской общественной жизни. У нас дома существовал отцовский запрет на участие во всяких еврейских партиях и обществах.

Меня это касалось в наименьшей степени, так как я училась в одном из лучших эстонских женских учебных заведений - гимназии Эльфриде Лендер. Основательница гимназии была одной из участниц движения «Молодая Эстония» («Noog Eesti») и принадлежала к той группе эстонской интеллигенции, которая в начале XX века начала бороться за

национальную идентичность, против немецкого и русского засилья в сфере образования и культуры. В царское время национальным меньшинствам не разрешалось основывать свои культурные общества. Поэтому молодые эстонские интеллигенты присоединялись либо к обществу трезвости, либо к спортивным обществам, чтобы под их вывеской обсуждать проблемы национальной культуры. Начала выходить на эстонском языке газета «Тэатая», главным редактором которой был будущий президент независимой Эстонии Константин Пятс.

Занятия в школах на территории Эстонии велись в основном на немецком и частично русском языке. В 1906 году произошло знаменательное событие: было открыто бесплатное начальное училище для детей обоего пола имени Эльфриде Лендер. В нем предметы преподавались на русском языке, но одновременно в программе присутствовал родной, эстонский язык. Впоследствии именно эту школу преобразовали в женскую гимназию имени Эльфриде Лендер. Теперь я понимаю, почему нашу школу ежегодно первого сентября посещал президент республики Константин Пятс. Он был другом Эльфриде Лендер, одним из самых активных участников движения «Молодая Эстония», и его большой написанный маслом портрет висел у нас в актовом зале.

Дисциплина в этой гимназии поддерживалась жесточайшая. На переменах нельзя было бегать, а чинно гулять, как в антрактах в Большом зале консерватории. Если ты спускаешься по лестнице и навстречу идет взрослый человек, следовало замереть на ступеньке и смотреть в его сторону, как это делают военные на парадах. Я слыла непоседой, придерживаться требований было трудно, и мне нередко снижали оценку за поведение.

С первого же дня нас учили писать буквы прямыми строчками на чистом неразлинованном листе. Французский язык начинался с первого класса. Красной дамой была у нас госпожа Редер. Она носила пенсне, была очень строга, и мы ее смертельно боялись. Как-то она позвонила отцу и спросила у него, не возражает ли он, если я на школьном рождественском вечере буду читать на французском языке стихотворение про Иисуса Христа. Считалось, что у меня хорошее произношение. Отец хмыкнул и сказал, что ему абсолютно всё равно, что я буду читать по-французски. Еще запомнились уроки богословия. Снова позвонили отцу и спросили, надо ли приглашать в школу раввина, чтобы он преподавал мне основы еврейской религии. Отец вежливо поблагодарил и сказал, что не надо: он был убежденным атеистом. Я же с удовольствием ходила на занятия по закону

Божьему. Во-первых, их давал молодой и очень красивый пастор, в которого все девочки были слегка влюблены. Во-вторых, мне было интересно на этих занятиях, и в результате я познакомилась со всеми библейскими легендами.

Замечу, что в нашей школе учились дети состоятельных родителей и чиновничьей верхушки. Одновременно какое-то количество девочек обучались на средства различных благотворительных фондов. Поэтому в школе строжайшим образом следили за тем, чтобы никто не выделялся. Атмосфера была абсолютно демократичная. Госпожа Редер сама смотрела за тем, как мы одеты: чтобы не было никаких украшений и чтобы



*Гимназия Эльфриде Лендер.  
Встреча одноклассников. 2005.  
Так сложилось, что единственная русская школа  
после войны размещалась в этом же здании*

никто не надевал воротничок из шелкового пике, а только из бумажного. Я любила бананы, но никогда не позволяла себе брать их в школу на завтрак, так как твердо усвоила, что многие девочки не могли себе этого позволить.

За все годы учебы в этой гимназии я не почувствовала ни малейшего оттенка антисемитизма. Хотя говорить о его отсутствии в довоенной Эстонии не приходится. Например, евреи бойкотировали новое кафе «Кульга» на центральной площади Таллина, так как там не без потворства со стороны хозяина кафе имели место шовинистические выходки. И в соседнем с нами доме жили дети, частенько пытавшиеся забрасывать меня камнями, выкрикивая антисемитские оскорбления. Но в нашей гимназии любые националистические настроения были невозможны.

Зато когда я первого сентября 1940 года, после того как Эстония вошла в состав СССР, пришла в свой класс, я испытала шок от той ненависти,



Мама. Последнее досоветское лето. 1939

которую ощутила в первое же мгновение. Эстонцы считали, что евреи виноваты в том, что Эстония стала советской, явно перепутав Молотова и Риббентропа с евреями. Правда, мелкие поводы для таких настроений действительно имели место. Хорошо помню, как в один из июньских дней 1940 года мы с ребятами нашего двора прибежали на бульвар Каарли посмотреть на демонстрацию, направлявшуюся к президентскому дворцу в парке Кадриорг, чтобы требовать вхождения Эстонии в состав СССР. Мы влезли на дерево и с любопытством глядели на колонну проходивших мимо нас людей. И действительно, в этой манифестации принимали активное участие евреи. Это бросалось в глаза. Понять это можно. Ведь чувство обособленности, осознание себя людьми второго сорта всегда ощущалось живущими в Эстонии евреями. А советская пропаганда декларировала национальное равновесие, и это весьма привлекало многих евреев.

С приходом советской власти антисемитские настроения в эстонской среде сильно окрепли. И мои закадычные подружки сразу дали мне это понять. Вся в слезах, я ушла со второго урока, пришла домой и сказала, что больше в школу не пойду. И родителям не оставалось ничего другого, как перевести меня в ту же еврейскую школу, где учился мой брат и которую еще не успели прикрыть. Я не знала идиш, и сначала мне было очень трудно. Но проучилась я там всего один год, когда началась война.

Отец был человеком левых убеждений. Он был активным членом ВОКСа<sup>1</sup>, посещал Советский Союз и один, и с мамой. Причем старался видеть только хорошее, а плохого не замечать. В один из приездов в Москву мама, видя, как протекает жизнь тети Доры – работа, покупки, хозяйство, общественная работа, – спросила: «Дора, как так можно жить?». На что тетя Дора ей ответила: «Я знаю, что сейчас мне живется трудно, но зато мои дети будут жить в благо-

<sup>1</sup> Всесоюзное общество культурных связей с заграницей.

словенном обществе». Не знаю, могут ли ее внуки и правнуки, дожив до сегоднешнего дня, надеяться на лучшее будущее своих потомков.

Весной 1940 года отец отправился в Швецию сдавать дела компании «The Timber Company», а на обратном пути, поехав через Берлин, своими глазами увидел скамейки в парках с надписью «Für Juden verboten!» («Запрещено евреям»). И он понял отчаяние многих своих знакомых книголюбов-евреев, не успевших уехать из Германии.

Дома, в Эстонии, отец застал советскую власть. По ее постановлению нас тут же уплотнили, оставив четыре комнаты. В наших детских комнатах поселились два офицера, они водили к себе женщин, что волновало маму, которая боялась плохого примера для своего повзрослевшего сына. А в отцовском кабинете и библиотеке поселился политрук, который просил у мамы разрешения пользоваться услугами нашей домработницы. Та пришла к маме с выпученными глазами и сказала, что политрук попросил к завтраку яичницу из шестнадцати яиц. Может ли такое быть и правильно ли она его поняла? Потом к политруку приехала жена, и мама, жалея, учила ее одеваться и удерживала от желания покупать ночные рубашки как вечерние платья. Отец же поступил научным сотрудником в Художественный музей и впервые в жизни был по-настоящему доволен своей работой.

Он с одобрением принял советскую власть: выросший и воспитанный на русской культуре, достаточно часто ездил в Советский Союз, чтобы походить по музеям Ленинграда и Москвы, посетить букинистические магазины, посмотреть новые спектакли и навестить своих друзей-коллекционеров. В 1934 году отец возил большую экскурсию эстонской интеллигенции на театральный фестиваль в Москву. Он считал, что в России совершается великий социальный эксперимент. Но в 1937 году ему впервые было отказано в визе, и до 1939 года, когда в Эстонии уже установились военные базы Красной армии, он в Россию не ездил.

В 1941 году в воздухе запахло войной и репрессиями, начались массовые депортации эстонской буржуазии в Сибирь. При этом все делалось не только жестоко и страшно, но и нелепо: могли выслать семью владельца маленькой лавчонки - буржуй-эксплуататор! - и не трогали крупных акционеров, поскольку они не числились в собственниках. Помню, в середине июня 1941 года, приходя в школу, я каждый день не заставляла в классе по пять-шесть детей. В те дни в Сибирь было выслано около четырехсот эстонских евреев, что, по мнению эстонских исследователей, в процентном



*я-пионерка. С мамой. 1940* менитого антиквариата «Россика» в Берлине, Юлий Сигизмундович Вейцман был заключен в гетто (странным образом до него доходили посылки с продуктами, которые высылались ему моими родителями). Было ясно, что с прежней жизнью покончено навсегда.

С началом войны отец был среди тех, кому предписали немедленно отправиться в тыл. Дело в том, что, когда в 1939 году Гитлер призвал прибалтийских немцев на родину, большинство немецких семей откликнулись на этот призыв. Как известно, прибалтийские немцы были тесно переплетены с русской культурой, играли значительную роль в русской истории. Достаточно назвать такие фамилии, как Штакельберги, Тизенгаузен, Бенкендорфы, Крузенштерны и др. В их владении находились большие культурные ценности, связанные с историей России. Когда начался исход немцев из Прибалтики, они получили разрешение на вывоз всего, за исключением культурных ценностей. Многие из покидавших родину немцев продавали часть своего имущества. Отец вспоминал, что ему удалось тогда купить «Думы» Рылеева с автографом поэта и книжку Бестужева-Рюмина, тоже с автографом.

Попадавшие в его владение рукописи или важные для русской культуры редкости отец всегда старался пересылать в Россию. Так, на юбилейную выставку Чайковского он отправил хранившийся у него автограф композитора - строчку одного из романсов с рисунками художника Сверчкова<sup>1</sup>.

*Когда я недавно была в РГАЛИ, то в каталоге обнаружила письмо отца, в котором он предлагал передать Государственному литературному музею портрет Ф. Булгарина, автографы Гоголя и Павла I.*

Когда Эстония стала советской, оставшимся немцам было разрешено выехать в Германию. Была образована Советско-германская смешанная комиссия по вывозу немцами культурных ценностей, художественным экспертом которой был назначен мой отец. За неделю до войны его вызвали в Москву, где ему посоветовали быть более уступчивым и выпускать больше вещей, ибо немцы на него жалуются, а их, мол, сердить не следует. Особые споры между отцом и покидавшими родину немцами вызывало имущество различных обществ и их библиотек. Так, например, немцы собирались вывезти библиотеку Провинциального музея, считая ее чисто немецким учреждением. Отцу удалось доказать, что город в XVI веке передал Провинциальному музею на хранение библиотеку русского Михайловского монастыря. И имущество Провинциального музея осталось в Эстонии.

Числа 15 июня 1941 года отец, вернувшись из Москвы, отправился на таможенную, где он работал, и скрепя сердце начал давать разрешение на вывоз. В таможене его и застала война. Первого июля он пришел домой и объявил, что завтра мы уезжаем. Укладывала вещи я, 12-летняя девочка. Мама находилась в полной прострации, так как мой брат за день до этого ушел в армию, а отец бегал и оформлял документы на отъезд. Отец понимал, что мы уезжаем если не навсегда, то если когда и вернемся, вряд ли найдем что-нибудь из вещей. Так как денег в доме не было, то он снял со стены некоторые картины Коровина, Сомова, Матвеева и других русских художников, открепил их от подрамников, свернул в рулон, надеясь, что их в случае нужды можно будет продать и на полученные деньги прожить некоторое время.

На самом деле мама вовсе не была избалована, а в трудные минуты проявляла стойкость характера. Она не жаловалась и не ныла, ведь при советской власти наша жизнь разительно изменилась. Но когда началась война и пришлось эвакуироваться, она горько плакала. В ответ на утешения отца, что не стоит плакать из-за брошенных вещей и утерянного благополучия,



*Справка за подписью Вышинского*

она сказала: «Да я не из-за этого плачу! Я не знаю, сумею ли вас накормить, я ведь не умею готовить».

Действительно, к своим сорока годам мама ни разу не заходила на кухню. Когда эшелон привез нас в маленький поселок Челябинской области под названием Нижние Увельки, мама, стесняясь, спросила кого-то, как надо варить суп. Ей объяснили. Она сделала всё, как было сказано, но не досмотрела, вода выкипела, но в результате получилось вкусное жаркое. С тех пор она воспрянула духом, научилась прекрасно готовить, и я до сих пор пользуюсь многими ее рецептами.



*Наше первое пристанище в посело Нижние Увельки Челябинской области*

## В ЭВАКУАЦИИ

Шел сложный процесс нашего приспособления к советскому образу жизни. Когда мы прибыли в Ташкент, вещи были сданы в камеру хранения, мы с мамой очутились в небольшом скверике, а папа отправился искать место для ночлега. Было начало сентября 41-го года, но привокзальная площадь была уже забита растерянными людьми, сидящими и спящими на своем жалком скарбе и не знающими, куда податься. Отец нашел нам комнату в гостинице. Потом искал нас несколько часов, так как позабыл, где находится злополучный скверик. В гостинице администраторша полюбопытствовала, где наши вещи. Отец сказал, что завтра заберет их из камеры хранения. На следующий день отец отправился за вещами. И очень скоро вернулся. Удивленная администраторша спросила его, а где вещи. Отец сказал, что погрузил их на тележку, запряженную осликом, и сказал извозчику, куда их следует доставить. Как в Париже: «Отвезите вещи в отель «Плаза». По тому, как побледнела сочувствовавшая нам администраторша, отец понял, что сделал что-то не так. Старичку узбеку ничего не стоило отправиться в старый город с его глиняными заборами, закрываю-

щими дома и сады, и мы остались бы ни с чем. А без вещей мы вряд ли выжили бы в годы военного лихолетья. Однако минут через сорок раздалось цоканье копытцев, и ослик со всем нашим скарбом остановился перед гостиницей. Ее персонал воспринял это как чудо.

Во время своих хлопот о работе и жилье отец познакомился с Евгенией Исааковной Ландер. Ее семья принадлежала к местной интеллигенции. Евгения Исааковна, видя нашу непригодность к советскому быту, всячески старалась нас опекать. Она помогла нам найти комнату недалеко от собственного дома, давала добрые советы. Увидев маму, которая в безуспешных поисках работы одевалась как можно скромнее, она спросила: «А нет ли у вас чего-нибудь поэлегантнее?» Мама ответила, что есть костюм с двумя черно-бурыми лисицами. «Так вот, - научила ее добросердечная Евгения Исааковна, - наденьте ваш костюм с обеими лисицами (потом они были благополучно проданы вместе с костюмом) и тогда идите искать работу». Мама ее послушалась, отправилась в Художественные мастерские Союза художников, где по трафаретам делались плакаты, и тут же была принята на работу. В мастерских она проработала все три с половиной года, что мы прожили в Ташкенте.

Первые два месяца жизни в столице Узбекистана у меня ушли на освоение русского языка. Я добросовестно списывала все слова с вывесок, со стен, с заборов. А вечерами отец объяснял мне их значение. Многие слова он вычеркивал, говоря: «Этого тебе не надо!» Через два месяца я усвоила язык настолько, что могла пойти в школу. Но мой акцент привел к тому, что ребята меня сначала били, считая немецкой шпионкой. Домой я возвращалась вся в синяках. Мама настаивала, чтобы отец пошел в школу выяснять отношения. Но отец справедливо считал, что это делу не поможет, что я должна сама справиться. И вот однажды, когда я возвращалась домой после уроков, ко мне подошел один верзила и, сказав что-то оскорбительное, выбил у меня из рук портфель. Меня это так возмутило, что я бросилась на него, как кошка, и стала царапаться и кусаться. Мы катались по земле, и нас с трудом разнял школьный сторож. С тех пор отношение ко мне изменилось к лучшему и меня перестали бить.

В школе со мной случился еще один забавный казус. Когда я вошла первый раз в свой новый класс, одна милая девочка сказала: «Сядь рядом, у меня место свободно». Она мне очень помогала освоиться, показывала пальцем то место учебника по истории или географии, откуда надо было начать отвечать, поскольку я учила эти предметы наизусть, не всегда понимая смысла слов.



*Мама быстро привыкла к новым условиям!*

Но вот однажды директор попросила маму прийти в школу для серьезного разговора. Она сказала, что в стране всеобщее обязательное среднее образование и поэтому обязана принимать всех детей. Но я сижу на одной парте с девочкой по кличке «Лилька с улицы Кафанова», а эта кличка доста-

точно характеризует ее моральный облик Дирек-

тор просила маму убедить меня пересесть на другую парту. Но мама была настолько уверена в моей моральной устойчивости, что пренебрегла предостережениями директорши.

Вскоре мы переехали в центр, во двор Публичной библиотеки, где отец нашел работу в отделе редких книг, а я перешла в школу на Пушкинской улице. Там подобных проблем уже не возникало.

## СНОВА В ТАЛЛИНЕ

На исходе 1944 года мы вернулись в Таллин, где застали пустой разоренный дом, куда нас к тому же и не пустили.

В конце 40-х годов семью постигли многие несчастья. Началось со сравнительно малого. За скрытие социального происхождения был исключен из партии мой брат, вступивший в нее в годы войны. Окончив искусствоведческое отделение Академии художеств в Ленинграде, он преподавал историю искусства в тартуском филиале Таллинского художественного института. Навивно было скрывать свое социальное происхождение в Тарту, где фамилия Генс была достаточно хорошо известна. Мы, дети, действительно не подозревали, что один из домов деда был в свое время куплен на имя моего отца. Этот дом нам все равно уже не принадлежал, и мы с братом ничего о нем не знали. В анкетах в графе о социальном происхождении мы писали: «из служащих»,

а оказывается, надо было писать - «из буржуазии». Видимо, какой-то доброжелатель выкопал в архиве сведения, которые легли в основу дела брата.

Для человека, работающего на «идеологическом фронте», исключение из партии означало запрет на профессию. Но директор института Лехт перевел брата в Таллин и оставил его на преподавательской работе. Надо сказать, что в те годы это был поступок чрезвычайной смелости и благородства! Так что эта история кончилась относительно благополучно. Тем не менее отец чувствовал себя виноватым в судьбе сына.

Одновременно начались гонения и на самого отца. В газете появилась во всю полосу статья под заголовком «Об одной вредной книге». Она была посвящена первому путеводителю по старому Таллину, составленному отцом. Что такого вредного умудрились в ней усмотреть, ума не приложу! Но дело было в том, что начала набирать силу идеологическая кампания борьбы с космополитизмом и буржуазным национализмом.

Во всех этих грехах и был обвинен отец. В результате он перенес два инфаркта, которые не помешали тому, что 23 марта 1951 года он был арестован. В тюремной больнице его не могли вылечить, и спустя несколько месяцев отец оказался при смерти. В ноябре мне было дано понять, что в случае моего ходатайства его выдадут на поруки. Видимо, тюремное начальство не хотело для себя осложнений и предпочло, чтобы он умер вне тюрьмы. Итак, через девять месяцев после своего ареста отец был выпущен из тюрьмы полным инвалидом.

Случилось так, что в жизни я повстречала больше хороших людей, чем плохих. Когда мне выдавали на поруки отца, я ждала несколько часов перед тюремными воротами вместе с водителем «скорой помощи». Я нервничала, потому что понимала, что карета «скорой помощи» не может стоять бесконечно долго. Но водитель, молодой парень, утешал меня и говорил: не беспокойтесь, буду ждать сколько надо. А потом на носилках вынесли отца. Его сопровождал офицер. Он отозвал меня в сторону, представился как заместитель начальника тюрьмы и тихо сказал: «Мы скрыли от вашего отца смерть вашей матери. Постарайтесь и вы от него это скрыть, так как, по словам врачей, вашему отцу осталось жить не больше десяти дней». Всё это забыть нельзя. Напомню, что дело было в ноябре 1951 года!



*Мой брат Лем  
после войны...*

Отец прожил еще шесть лет и успел написать воспоминания. Скончался он в феврале 1957 года.

События, связанные с травлей отца, его болезнью и арестом, сломили жизнестойкость мамы и предопределили ее уход. Любовь к отцу имела всеобъемлющий характер, она перевешивала все остальное, включая даже материнские чувства. Мама была убеждена, что больше никогда не увидит мужа и что из тюрьмы ему не выйти живым. А жить без него она не могла. И вот в возрасте пятидесяти одного года она покончила с собой.

Ее самоубийство потрясло окружающих. Маму знали и любили в городе. Мало кто обращался к ней по имени и отчеству. Все называли ее ласково - Берточка. На похороны пришло огромное количество народа, но весь обряд прошел молча. Не было сказано ни единого надгробного слова. Всем было страшно. Шел 1951 год.

## ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В том же 1951 году я окончила Восточный факультет Ленинградского университета. Поступала я туда крайне легкомысленно. На самом деле мечтала о кино. Понимая, что творческих способностей во мне нет, я хотела стать киноведом. Но в том году во ВГИКе на киноведческое отделение приема не было, и я решила перебраться поближе к дому, в Ленинград. Там по совету школьного

товарища и направилась в университет, где остановила свой выбор на иранистике. И не потому, что интересовалась этой страной, а с твердым намерением (пожалуйста, не смейтесь!) выйти замуж за иранского шаха. Ну, в крайнем случае я бы согласилась быть послом СССР в Иране. Конечно, эти мысли были не совсем всерьез, но и не совсем в шутку. На самом деле я росла в сознании, что принадлежу к особенной семье и выбором профессии должна соответствовать ее имиджу. Одни идут учиться на стоматолога, что предвещает материальное благополучие, а вот я учу персидский язык, что, на мой инфантильный взгляд, отвечает духовной



*Последняя фотография с мамой.  
1950*

*С мамой...1929*

Детство. Мои родители



*..и папой. 1932*

Детство. Мои родители



*Родители. Весна 1940*

Дом и жизнь Б Таллине



*Мама и Юлий Вейцман. Он и его семья погибли в Варшавском гетто. Возможно, единственная сохранившаяся о нем память.*

Дом и жизнь в Таллине



*Отец работал в отделе редких книг  
Ташкентской публичной библиотеки. 1942*

В эвакуации



*Мы уже в Ташкенте в полном составе! 1941*

В эвакуации

атмосфере моей семьи. Учиться на факультете было очень интересно, и я ни о чем не жалею. Хотя использовать знания иранистики мне почти не довелось.

На Восточном факультете в первые послевоенные годы сотрудничало целое созвездие крупнейших авторитетов, основателей научных школ. Достаточно вспомнить китаиста академика В. Алексева, индолога академика А. Баранникова, крупнейшего специалиста по истории Древнего Востока академика В. Струве, арабиста с мировым именем академика И. Крачковского и многих других. Эти ученые не только читали лекции, но вносили в атмосферу факультета дух старой петербургской интеллигенции, были носителями той культуры, которая, как мы это интуитивно чувствовали, стала исчезать.

Первые два года атмосфера на факультете была удивительной. Кончилась война, все искренне надеялись, что страна начнет жить по-другому и что репрессии, уничтожившие цвет ленинградской интеллигенции, остались в прошлом. Среди студентов многие прошли войну, это были зрелые и очень талантливые люди, интеллектуальная элита, которая задавала тон на факультете. Знаменитые капустники «восточников» славились по всему университету. Учиться было чрезвычайно интересно и в то же время очень трудно. Помню, на втором курсе наряду с прочими предметами мы изучали одновременно пять языков. На курсе особенно выделялась группа арабистов - из четырнадцати студентов восемь впоследствии защитили докторские диссертации.

Жилось всем голодно и холодно. Особенно это касалось нас, иногородних. Помню знаменитую студенческую столовую во дворе здания Двенадцати коллегий, где по карточкам кормили черными макаронами. У входа нам вручали ложку, которую при выходе нужно было сдавать. Помещение столовой было большим, и одна его треть отделялась толстым шнуром. За этой загородкой питались студенты из стран народной демократии. Для них столы были застелены скатертями, кормили их лучше, еда подавалась в нормальной посуде. А мы сидели за покрытыми клеенкой столами и хлебали свои макароны из оловянных мисок. Унизительно и крайне недемократично. Я спрашивала себя: а как это неравенство воспринимают сами иностранные студенты, бывшие, как правило, молодыми коммунистами, верившие в декларации советской власти, во время войны боровшиеся с фашистами в партизанских отрядах, побывавшие в застенках гестапо. Для них демократия не являлась пустым звуком. Узнать об этом было нельзя, так как общение с ними не поощрялось.

Недоброй памяти борьба с космополитизмом прошла беспощадным ураганом по нашим великим ученым. Исчезали корифеи науки. В 1949 году был репрессирован декан нашего факультета Виктор Морицевич Штейн. На филологическом факультете, с которым мы делили одно здание, обвинения посыпались на выдающегося фольклориста и литературоведа Владимира Яковлевича Проппа, историка литературы Бориса Михайловича Эихенбаума, филолога Виктора Максимовича Жирмунского.

Из Москвы для расправы с академиками Крачковским и Алексеевым прислали некоего востоковеда Климовича, тогда, кажется, еще аспиранта. (В более поздние годы я встречала его фамилию с припиской - доктор наук, так что карьеру он сделал, старался не зря.) Помню день в марте 1949 года, когда нас, студентов восточного факультета, согнали на балкон актового зала. Кажется, это было в помещении Двенадцати коллегий, главном здании ЛГУ. Потрясенные, мы слушали вздорные обвинения в адрес Крачковского, озвученные Климовичем. Один наш студент, Михаил Гельцер, впоследствии профессор по истории Древнего Востока Хайфского университета, сложив руки рупором, крикнул: «Позор!». Его возглас подхватили другие. Все мы стали стучать ногами, поднялся страшный шум. Собрание было прервано, студентов из помещения выгнали. Но приказ Москвы надо было выполнить, и ученый совет собрался уже в узком составе, где и академик Алексеев, и академик Крачковский были осуждены как космополиты. Для пожилых ученых, убежденных в правоте своих научных взглядов, эта экзекуция не прошла бесследно. В 1951 году они оба безвременно скончались.



*Показываю Таллин Виктору Некрасову и его маме.  
Начало 1950-х*

После окончания университета я оказалась в Таллине, где с трудом устроилась в Государственную библиотеку ЭССР и проработала восемь лет. Это была исключительно богатая библиотека с превосходной коллекцией редких книг, крупнейшая в Эстонии после библиотеки Тартуского университета. Возглавляла ее вдова убитого немцами за левые убеждения замечательного художника Андруса Йохани, прекрасно знавшая библиотечное дело. Впоследствии ее, несмотря на кристально чистую партийность, уволили, а взамен пришел новый директор, образование которого заключалось в окончании местной высшей партийной школы с отметками «Эстонский язык и литература - удовлетворительно», «Русский язык и литература - неудовлетворительно».

Черным утром 13 января 1953 года в газете «Правда» было опубликовано про «убийц в белых халатах». Стало страшно, но я пошла на работу. В комнате, кроме меня, работали еще три человека. Все молчали, было опасно открыть рот! Вдруг открывалась дверь, и к нам зашла секретарь парторганизации Зельма Тельман.

Сестры Тельман - Юлиана и Зельма - были старые коммунистки, в свое время они прятали у себя Виктора Кингисеппа, основателя эстонской компартии, впоследствии расстрелянного в буржуазной Эстонии. Сами они просидели долгие годы в тюрьме, их выпустили только в 1939 году.

Зельма подошла к моему письменному столу и четким громким голосом (повторяю - при свидетелях!) сказала: «Инна, прошу вас не вешать носа, работать как всегда. То, что сегодня опубликовано в газетах, ошибка, это наверняка разъяснится. Этого не может быть!» Повернулась и вышла. Мы все замерли. В мертвой тишине мы продолжали трудиться. Надо сказать, что никто не донес, хотя среди нас находился один член партии.

В Таллине я не видела для себя перспектив ни в личной, ни в профессиональной жизни. Кроме того, меня донимали мамыны знакомые дамы, которые, встретив меня в городе, кричали через всю улицу: «Инночка, ты наконец вышла замуж?», а на мой ответ «простите, нет», также громко реагировали: «Ах, мы так плачем, так плачем!» Выдержать это было невозможно. И проработав восемь лет в библиотеке, я перебралась в Москву искать счастья.

Прошло много лет. Я уже давно жила в Москве, но часто наезжала в Таллин. На Ратушной площади я наткнулась на маленькую ссохшуюся старушку, в которой узнала Зельму Тельман. Подошла к ней, представилась и напомнила ей о том дне, который никогда не забывала. Я задним числом поблагодарила ее за мужественный поступок, который тогда вселил в меня надежду. Мы обнялись и поплакали, вспоминая то жуткое время.